

«Минувший год был для меня пестрым, словно первая летняя бабочка. Был он долгий, насыщенный, потрепал и нервы, и чемоданы. Зато и горизонты мои раздвинул заметно — аж до Тихого океана! Но из всех моих связанных с делами театра поездок, даже с учетом того, что многие из них спроецированы в будущее, — Москва, Вильнюс, Свердловск, Владивосток, Мюнхен, Минск и другие — сильнее всего запал в душу Минск. И не потому, что пришлось в нем побывать трижды. (В Москве еще чаще бывал, да и юбилейные торжества Ф. Тугласа — сами по себе событие). Нет, Минск поразили людьми. Ведь воистину люди красят место, а не наоборот. По крайней мере, для меня. Это только рядом с Ниагарским водопадом человек мало что значит, да и то для ошеломленного туриста...

Все началось в мае минувшего года во время дружеского вторжения в нашу республику белорусского искусства, — так написал народный артист ЭССР, популярнейший драматический актер и режиссер МИКК МИКИ-ВЕР на страницах первого в этом году номера еженедельника «Сирп я Вазар», начиная свой рассказ о белорусских друзьях. Его заметки с небольшими сокращениями мы и предлагаем сегодня вашему вниманию.

## МОЙ ДРУГ ИВАН МИСЬКО

Этот огромный, неуклюжий, с тяжелыми большими руками и хитровато-простоватым лицом белорус так напугал меня еще в Таллине по весне своими неумеренными проявлениями симпатии, что во время гастролей в Минске и примыкавших к ним Дней Эстонии в Белоруссии я, как мог, хоронился от него. На все телефонные звонки отговаривался чрезвычайной занятостью. Правда, во время торжественного открытия Дней я попал-таки в его медвежьи объятия, под водопад признаний в любви, уважении и т. п. Эта промогласная, распахнутая настежь откровенность снова повергла меня в замешательство, и я, конечно же, снова не пошел к нему в мастерскую, хотя искусствовед Сирье Хелме и предупредила меня, что лучше бы пойти, а то из моего портрета, из бюста, сработанного по памяти, и несколькими фотографиям, может получиться... Точнее, ничего хорошего не получится. Все равно не пойду, думал я про себя. Не пойду и все. Ты мне не нравишься, Иван Мисько, я не верю в тебя как в художника, уж очень ты нараспашку, уж очень ты неуёмен в изъяслении чувств, до неловкости прямолинейен, ты слишком раскатисто смеешься и слишком охотно и громко говоришь. И вообще ты не европеец, если уж быть до конца откровенным.

Я сбежал в Таллин.

Через неделю — снова в Минск! У моего славного друга режиссера Николая Еременко — юбилей. Я поехал бы даже под страхом непрерывной встречи со скульптором Мисько. И, конечно же, я с ним встретился. Мы вдвоем волокли на сцену свежайший скульптурный портрет Еременко — подарок юбиляру. Иван произносил на весь зал разящие точные признания в любви, я молча отдувался и думал, что теперь уже спасения нет.

Его и не было. В конце вечера Коля Еременко в своей обычной манере, тихо и ненавязчиво, сказал: «Ты сходи завтра в мастерскую. Ваня очень хороший мужик. Ты сходи». И я пошел.

Мастерскую ровно озарял свет непонятного происхождения. В мастерской было много всякого и разного. В маленькой кладовке шумел чайник. Очень тихо звучало радио. Иван, без галстука и медалей, в поношенной джинсовой блузе, в сапогах, тихонок возился с глиняным Микком. «Встань тут, рядышком, пожалуйста. Сейчас чай пить будем», — голос был тихий и не потревожил бы даже паутины. Иван продолжал работать. Теперь уже сверяясь с Микком-оригиналом.

Чай мы сели пить через три часа. Видно, за это время Иван поймал и закрепил в глине то, что теперь уже не боялся потерять.

Никогда не приходилось мне чаевничать в таком обществе. Все советские космонавты плюс космонавты соцстран и их коллег-француз, Якуб Колас (незавершенный), Валерина и Гимнастка, множество матерей со взрослыми детьми, преимущественно с сыновьями, преимущественно с погибшими сыновьями, матери и жены павших на поле брани, старики — в группах и поодиноким, стоя и сидя, руки на коленях, мозолистые, в узлах вен, прекрасные руки, понявшие, что земля, пожалуй, безразлично, как относится к ней человек, любит или нет, а вот для самого человека это вопрос вопросов. Руки, ноги, лица... И одна-единственная птица: композиция о космосе, как же без птицы-то! Фрагменты, эскизы, детали, порой более выразительные, чем уже завершенная работа. И над всем этим тот непонятный свет, что поразили меня при входе. Теперь я понял. Он исходил от самого Ивана, который сидел напротив, обхватив ручищами большую чашку, прихлебывал чай и голосом, глубину и тембр которого я не берусь описать, повествовал свою очередную историю. О сочинском пляже, где люди, словно шпроты в масле, а на самой кромке прибора вдруг человек лицом к солнцу, натянута, как тетива, руки раскинуты — вот-вот взлетит туда, к светилу... У Ивана даже мороз по коже. Подошел потом к тому человеку. Слепой он. О материале и архитектонике каждого человека. О том, как ощущают планету после полета космонавты, или землетрясение в Мехико кажется бедой в соб-

ственном доме, нет больше расстояний, чужих бед нет, сами себе взрослыми детьми кажутся...

Нет, я не помню иванова голоса, а помню лишь суть, связи, ассоциации, саму атмосферу и свою собственную мысль: господи, да почему же лишь малая толика того, что ты видишь, чувствуешь, знаешь, отражается в глине и камне, насколько же ты сам еще богаче, интереснее, чем твое творчество. Впрочем, иначе и этого бы не

# Три встречи на бульваре Дружбы

было, и не мне об этом сожалеть... Я могу лишь радоваться, что все-таки узнал тебя.

Ты мне нравишься, Ваня, я верю в твою распахнутость и прямоту, в твой раскатистый смех, потому что слышал, как ты говоришь сердцем, потому что ты такой, какой есть, — сын Белоруссии.

И я от души присоединяюсь к словам моего друга Коли: Ваня очень хороший мужик. Наверное, так оно и есть, потому что лауреат Государственной премии СССР, народный художник БССР, секретарь Союза художников скульптор Иван Мисько часто бывает в селе, где вырос Ваня. И тогда там горит тот же ровный неугасимый свет.

## АЛЕШИНЫ ЯБЛОКИ

— Знаешь, что он мне сегодня ночью заявил? — спросил меня Алексей Дударев на шоссе, ведущем к Хатыни. (Прекрасна Белоруссия в начале октября с ее пламенеющими лесами и притихшими, будто готовящимися к зимнему сну деревьями). — «Теперь из эпохи приукрашенной правды мы перешли к периоду правдоподобной лжи». Так и сказал. Ровно в половине третьего. Я так испугался, что даже на часы посмотрел.

— Кто сказал?

— Ну, тот, второй председатель. Ты понимаешь, он же видит, как мало людей готовы внутренне к истинным переменам, и понимает, большая часть руководителей среднего звена до правды не подымется, не может подняться! И будут выпутываться из ситуации правдоподобием, выдавая его за правду...

Теперь я сообразил, что речь идет о двух председателях колхозов из повести, которую сейчас пишет Дударев. Алеша — крестьянский сын, и потому в творчестве своем вновь и вновь обращается к деревне. Да и не только в творчестве. В деревне живут его приемная мать, очень схожая с Ханной из пьесы «Вечер», сестра. Але-

ще и его семье (жене и сыну) снова принадлежит отцовский дом, что стоит на пути от Минска к Витебску. В доме, убежден Алеша, по-прежнему обитает домовый, а в колоде — водяной-колодезник.

Мы знакомы с Дударевым с 1983 года. На одном из региональных совещаний в Минске мы запомнили друг друга по выступлению. А потом Николай Еременко — ну, кто же еще! — нас на бегу познакомил. Зимой 85-го

Алексей был в Таллине, смотрел «Цвета облаков» Яна Круусвалла, в котором признал родную душу, как и в героях его пьесы. А потом расписывал мне в самых теплых тонах, как я должен был бы поставить его «Вечер». Я же все выпытывал его этические позиции по некоторым не совсем ясным мне моментам в пьесе «Рядовые», над которой тогда уже работал. Алексей советовал «Рядовых» отставить и делать «Вечер».

Снова мы встретились осенью 1986 года во время гастролей нашего театра в Минске. Он неожиданно оказался на сцене среди тех, кто приветствовал нас, — пунцовый от смущения, с охапкой гвоздик, не похожий на свежеспящего лауреата Государственной премии и премии Ленинского комсомола. Мы приняли его в свои ряды и честно поделили оvation — эстонские актеры и белорусский режиссер 35 лет от роду, с актерским дипломом в кармане.

В тот вечер «дударевская мать» — актриса драмтеатра имени Янки Купалы — сказала: «Вот ты и получил, что хотел». Алеша и не скрывал, что доволен нашим спектаклем. Позже они с женой полночи поговорили на кухне о том, как это замечательно и удивительно, что разные народы с таким разным опытом войны могут быть так созвучны друг другу.

Целый день мы бродили с Алешей по Минску, говорили мало, да и то больше он. О родном крае, о родном языке, о деревне и внутреннем душевном непокое, об образовании души, которого не получишь за школьной партой. Я сказал ему, что хоть и выглядит он горожанином и космополитом (если глаза и руки исключить), но в душе он как был деревенским парнишкой, так и остался, и титулы его не изменили. Он глянул на меня серо-стальными глазами и продолжал о своем — жутко ребяческом и серьезном, о том, что пока еще можно как-то помириться с богами земли, воды, леса, и таким, как он, меняться и нельзя, а то между вами (нами то есть) и ими посредников не

останется. Выпалил это на полном серьезе и замолк, будто бы даже испуганно...

— Хочешь яблок? — спросил он вдруг на шоссе, ведущем к Хатыни, и затормозил. Выскочил под дождь на радость бабусям у обочины. Ведро — в багажник, еще полведра — на заднее сиденье. Ели яблоки, вспоминали Колин юбилей, завтра я улетаю, а нынешним вечером еще надо посмотреть «Вечер» в Витебском драмтеатре имени Я. Коласа.

— Хочешь еще раз в Хатынь?

Кивнул утвердительно. Алеша чуть заметно облегченно вздохнул.

— Понимаешь, я в такую слякоть, в дождь там не был. А там ведь все меняется от погоды. Зимой — своя тема. Печи в снегу! — в нем чувствовался внутренний трепет.

Потом была Хатынь. Я слушал Дударева, смотрел на него. Он не придавал лицу «соответствующего» трагическому месту выражения, был самим собой, в чем-то мальчишка, в чем-то глубоко серьезен. Это Хатынь была сегодня на иное, не знакомое ему лицо. И он, Алеша, вглядывался в новый ее лик, прислушивался к ней. И, видно, постиг нечто важное. Потому что Хатынь узнает своих и открывается им.

— Знаешь, Чернобыль на несколько месяцев вышиб у меня перо из рук, — сказал Алексей, когда мы уже снова мчались вдоль придорожных осенних лесов.

А про яблоки мы забыли. После спектакля в Витебске уже за полночь добрались до гостиницы и простились — кто знает, на какой срок. И только за контрольным барьером аэровокзала, ожидая выхода на летное поле, я вдруг вспомнил вкус холодного яблока. Да еще как вспомнил — как в детстве, до слюнок...

— Микк! — закричал кто-то из-за спины дежурного. Запыхавшийся Дударев протягивал мне кошелку с яблоками.

— Ох, Алеша!..

## КОЛЯ

Николай Николаевич Еременко-старший сидит на краешке стола и с непритворным вдохновением повествует Николаю Николаевичу Еременко-младшему о том, как прекрасен Сааре-маа, где он побывал уже дважды. Глаза горят, губы сочно выговаривают слова, лепящие образы, руки тоже помогают рассказу. Он готов наизнанку вывернуться, лишь бы собеседник прочувствовал, какая это земля и какой это расчудесный на-

род — островитяне! Он просто влюблен в них, он за них готов в огонь и в воду...

Таким я его и знаю. (Ну, разве иногда надо делать скидку на артистизм). Всегда полон негормонного воодушевления, всегда чем-то или кем-то увлечен, всегда готов на скрытое самопожертвование ради кого-то, всегда готов защитить...

Еременко-младший вышел на орбиту популярности после фильма «Красное и черное» того же Герасимова, что прославил Еременко-старшего, сняв в фильме «Люди и звери». Сегодня сына знают по целому ряду картин, но нужно слышать, как говорит о нем отец, с какой любовью и заботой, словно его все еще надо защищать, доказывать кому-то его возможности: «Ну, что я. Вот Николай Николаевич — это артист божьей милостью!».

Галина Александровна Орлова несет на стол печеную картошку (видно, успели шепнуть, что это любимое мое блюдо), с улыбкой женского всепонимания смотрит на мужа и сына — любящая жена и любящая мать, актриса театра имени Я. Купалы, заслуженная артистка республики, очаровательное, таинственное создание. «Ну что я! — говорит Коля-старший, — вот Орлова — это актриса!».

После представления «Рядовых» Николай разыскал меня за кулисами. Выглядел он уставшим не меньше, чем мы.

— Послушай, Микк! Сейчас ко мне подошел Дударев и говорит, ты, мол, только посмотри, как они устали! Я ему объясняю, они же с дороги, намучились... А он мне: «Да я не о том. Ты посмотри, как они устали от войны!». Все, Микк, вы победили!

Коля и по внешности, и по характеру настоящий мужчина, но уголки его глаз предательски поблескивают, когда он произносит: «Я очень рад за тебя». Эти слова — пароль души Николая Еременко.

Мы познакомились в Мюнхене в 79-м году. Помню, вместе смотрели какой-то сильно подействовавший на него фильм, потом допоздна пили чай в гостиничном номере. И он рассказал мне, как четыре раза убежал из фашистского плена, как последний раз схватили его именно здесь, в Мюнхене, когда он уже целый месяц пробыл на свободе. Потом был лагерь в американской зоне и чрезмерно настойчивые угрозы, подкуп и прямые угрозы. А еще позже — недоверие дома и многочисленные, душу рвущие допросы. Я спросил, как он все это выдержал, а Коля ответил: «Понимаешь, я тогда уже очень любил Галю, и, по моим соображениям, она ждала ребенка, и я просто обязан был выдержать все».

Пусть будет так, Коля. И ты мне очень нравишься, Коля. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь защитить тебя, если вдруг понадобится. Но мне очень хотелось бы.

(«Сирп я Вазар»).